

Два раза в год к нам приезжал брат отца – дядя Игорь. Он работал где-то далеко на Севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него была густая чёрная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На Севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вёл знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями – мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окружённый стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная – три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого не выказывала.

– Никак не повзрослеет, – говорила она.

Мы удивлялись её словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, – не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

– Дядь, дядь, расскажи про Север, – обступали мы его.

В моём положении племянника не было ровным счётом никаких привилегий – он был дядей нам всем – и никому. Он был ни на кого не похож, и даже его ребячество – о котором теперь я вспоминаю с теплом – было каким-то иным, особым. Он был слишком своим и слишком чужим.

Дядя ерошил волосы, – на висках они уже начинали седеть, – пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

– Про Север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Не вместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «Как-то раз».

– Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

– Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

– Как-то раз сообщили нам, что с гор идёт лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночёвка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих своё место.

Небо над нашими головами густело, занимались звёзды. Дядя дымил трубкой и басил из-за своей бороды.

Север – чудный, далёкий – казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там своё, особое государство, живущее по своим, особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра, дым от трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а её огонёк – угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь – угрюмая и загадочная.

– Ты для них не дядя Игорь, – шутил отец, – а дядя Север.

Дядя улыбался; Север жил в нём, и временами казалось, что с нами он был лишь телом – душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днём был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился – принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном запирался в комнате, читал.

Во взгляде его накапливалась какая-то тоска – подойдёт к окну, постоит. Вздохнёт – и отходит.

– Хватит страдать, – говорил тогда отец и усаживал брата за стол, – смотришь тошно.

Дядя улыбался смущённо, принимал весёлый вид, но через какое-то время глаза его снова подёргивались мутной пеленой, он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия, он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поездок по городу.

– Эх, – говорил он, – жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колот.

Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клёна настоящий дом – добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером. Первое время мы из него не вылезали – сидели там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шёл к клёну, становился внизу и, задрав голову, басил:

– Кто-кто в теремочке живёт?

Мы, сдерживая смех, молчали.

– Ну, значит, я, – говорил дядя, закатывал рукава, ловко подтягивался – и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

– А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка – одно смотрело на запад, другое на восток.

Дядя показывал на западное:

– Ишь, как полыхает.

И мы заворожённо смотрели на закат.

– А ну-ка, – спросит, – какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? – и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

– Т-тёплые.

– Прекрасно, – подбодрит дядя. – А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне – бах! бах! Искры кругом, жарница, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, который гвозди в узлы вяжет и подковы гнёт, не морщась.

– А лет ему уже под шестой десяток, – подводит дядя итог. – Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца: огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах.

Север – край богатырей.

Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скрёб бороду, спрашивал нас о чём-нибудь – не любил тишины. Из окошка лилось всё меньше света, клён обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искоса – ему было неловко за то, что он вот так, как ребёнок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал её в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшеклассники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянью, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке слепленные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клён, будто с извинениями разводящийся в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

– Никаких шалашей, – оборвал сходу отец, – или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом – для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился всё более чужим, начинал тосковать уже не через неделю, не на следующий день, но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там, я думаю, грусть заволакивала

его сердце ещё до отъезда оттуда, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И всё же он приезжал. Настойчиво, через силу он тянул себя к нам: отцу, мне, матери, нашему клёну и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его пожелтели, лицо покрылось морщинами, но он был по-прежнему красив и силён – и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильёй, каким я видел его в мечтах о Севере.

А мечтали мы все – каждый мальчишка. Грезили суровыми зимами, бездонным небом, не стихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде – он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьёзно и как будто с горечью:

– Куда нам.

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату – маленькую, светлую, с окошком в сад – и садился за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с чёрными, как уголь, локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках – за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

«Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет – хоть плачь. И каждый день пьёт. Но мужик – во такой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тощую лису и местного мальчонку – этот чудом не обмёрз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обогрелась, отъелась да и осталась при нас – не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился – и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции. Не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем – про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

От всех тебе приветы, а я пошёл, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори всё-таки назвать племянника Антоном.

Антон».

И дата – месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо – пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками – адреса, телефоны.

Ближе к окну на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загипнотизирован – сидел и смотрел, такая она рас-

чудесная – ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет-тьень, свет-тьень.

Я сажился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далёких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза:

«И скажи всем, чтобы не трогали моё ружьё».

Я очень боялся, что кто-нибудь в моё отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на Север, и живут там в сторожке – сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату паломничества – мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда – берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдёт отец. Зажжёт абажур, устроится поудобнее – и читает. Но читает не дядино – что-то своё.

А я грезил Севером. Мне снились необозримые пёстрые дали, северное сияние, усталые великаны-горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и щурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чащу, а в самом центре Севера – на белоснежном плато, окаймлённом вековыми соснами, под шатром из зелёных сполохов, под пристальными взглядами тысяч звёзд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя ползла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике – спокойный и уверенный – сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто быть там – населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, своими благородными мыслями. Все снега Севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их и пересказал нам.

И закат – то самое солнце, которое обегало день за днём всю землю, по долгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей в домике на дереве. Зато когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам – ещё раз увидеть то, о чём только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку – отец и дядя, совсем ещё дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом, дядя – большеголовый, худенький, с

огромными удивлёнными глазами, жмётся к отцовской руке и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка, навряд ли можно было сказать, что на фото – братья; настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты – на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи – отец вернулся с работы. Я спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нащупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал её, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца – где-то далеко за решительностью, за вызовом – я увидел настороженность, напряжённость. Ещё глубже, едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в потускневшее изображение, я как в воду погружался в дядин взгляд – слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далёкое, удивительное – и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец-богатырь смотрел на меня из далёкого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд говорил, а я – в меру своего понимания – внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку – махровую от пыли, с истрёпанным уголком.

– Гляди-ка! – присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскрёб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе – вероятно, он забыл о фотографии, как только выпустил её из рук, а мать сказала, что не брала.

– Возьми другую, их там море, – добавила она.

Но другой такой не было, и я долго ещё горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про Север, и моё внимание – как и внимание всех окрестных мальчишек – обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу – хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие

за собой упряжку – со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещрённая порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка – в ней угадывались две фигурки с вёслами.

Когда – в очередной приезд дяди – мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:

– Это пустяк, а не река. Бывают и посерьёзнее.

Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.

– А что это у вас за трофей? – спросил он. – Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

– Хорошая книга, – протянул дядя, рассматривая иллюстрации. – Только, – ткнул он пальцем в текст, – сухая, ненастоящая.

Вздыхнул.

– Север, братцы, это вам не циферки эти, не справочки... это...

Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

– А вы на собаках катались? – спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно.

– Без собак, брат, никуда.

Сделал паузу и добавил:

– А лодки, бывает, запрягаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провёл на Севере – инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.

Я годами хранил в себе чудесную мечту – когда-нибудь да переехать туда. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я всё ждал, что дядя позовет меня к себе – я вырослел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И всё: никакого результата. Завертелось с учёбой, подвернулась недурная работа – и я отвернулся от Севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и – не так давно – в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно. Подошёл к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды. Отошёл, ссутулившись.

Перед отъездом – теперь я провожал его на поезд – мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер, и казалось, что вот-вот пойдёт дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше – он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел

в его глаза – теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, неопределимого, что так влекло меня в той фотографии.

– Так-то, брат, – закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону, и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице – здоровье не позволяло продолжать работу на Севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей – далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нём стало стариковского, и загрустил.

– А я тут сижу, как сыч, – заявил он. – Тоска смертная.

Засвистел чайник. Дядя вывалил в плошку горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам. Это было то самое, утерянное моё сокровище – два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой – испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое – наш дом, клён, отец, невероятные истории, Север.

Чудесный, далёкий Север.

– Дядя, – сказал я, вернувшись в кухню, – откуда у вас та фотография, что на столе стоит? Где вы с отцом.

Старик провёл широкой ладонью по бороде.

– Серёжа подарил, – сказал он.

Я не сразу понял, о каком Серёже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от неё такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлечённо, словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобрать, где повседневное, а где – оно, таинственное? Всё слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далёкую, неуловимую загадку, и простые переживания одинокого старика.

В конце концов дядя принялся говорить о Севере. И не было отца, чтобы вошёл и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы – очень



скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может – или не желает – высказать всего, что скопилось в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует – по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

– Дядя, – перебил я его. – А переезжайте к нам. Сын уже учится – живёт в общежитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя замолчал. Глаза его блуждали.

– Дров вам навезём, – пошутил я, – колоть будете.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.

– Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задёрнул занавески, зажёл лампу.

Я рассказал о том, как представлял себе Север, о волках, вьюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.

Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:

– Зачем вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что вам неуютно здесь. Зачем же было всё это?

Дядя потёр переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.

И ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, была глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушёл в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жёстком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел чёрное небо и точки звёзд. Растревоженные воспоминания не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стенкой раздался какой-то шум – как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дёрнул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго – мне казалось, целую вечность – сидел и смотрел на фото. О чём я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, всё вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть, пытался разгадать-таки дядин взгляд. И ещё мне кажется, что я искал это в глазах отца. Нашёл ли?

Когда чёрная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет, рухнул на диванчик и уснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети – все мы ютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встаёт передо мной. А где-то далеко слышится

звон – бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьёт по своей наковальне. Хоть бы дядя пошёл на звук – и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но ещё долю секунды слышал угасающее эхо далёкого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.

Перед уходом я напомнил дяде о своём предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память – или хотя бы на время – карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.

– Да-да, конечно, – пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок, и, крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

– Простите меня, – произнёс я. – Простите. Пусть... останется у вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд – тот самый, взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю ещё раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашёл в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне – и сообщал, что возвращается на Север.

«Здоровье... а что с него толку, коли сижу в этой коробке – и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу».

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.